
П. Н. Кудрявцев

Русская литература в 1852 году

Отрывок

В то самое время, как Новый Поэт писал для «Современника» свой «Литературный маскарад», г. Григорьев изготовлял для читателей «Москвитянина» свою статью «О значении исторической критики и о различных злоупотреблениях, к которым она» и пр. («Моск<витянин>», 1). Мы, конечно, далеки от того, чтоб поставить оба произведения рядом, поравнять их между собою: Новый Поэт и г. Григорьев — это два таланта, не имеющие между собою ничего общего (кроме фельетона). Да и в самом воззрении на вещи какая глубокая разница! Один смотрит на вещи с точки зрения современной, другой — исторической; один весь погружен в созерцание г. Овчинникова, другой — Гоголя, Лермонтова и других более или менее мировых поэтов; один гоняется за смешным выражением, другой в поте лица своего отыскивает «новое слово», хотя новое слово не поддается ему, как Дульцинея одному герою старого времени. На одной странице г. Григорьева («Моск<витянин>», 2, 17) найдете и Пушкина, и Мольера, и Шекспира, и Гоголя, и Гете, и опять Гете. Г. Григорьев не наполняет своих фельетонов стихами собственного изделия, подобно Новому Поэту, но зато он то и дело украшает их стихами Гете, Шиллера, Шекспира, Пушкина... С другой стороны, если Новый Поэт берет новые выражения у г-на Овчинникова, то г. Григорьев сам производит их в обилии, не почерпая ни из какого источника; такие выражения, например, как «периферия личности», «узкость мирозозерцания», «разумно-любовное слово жизни», «ходульная идеализация», ему как-то удаются даже без особенного напряжения. Попадают даже целые места, так удачно и цельно отлившиеся, что их нельзя разнять ни на какие части, разбить ни на какие понятия; их приходится брать, как они есть, как золотые самородки. Вот одно из таких мест:

Но да не подумают, чтоб грубое служение действительности и неразумное оправдание всех явлений, потому только, что они — явления, считали мы последним словом искусства в настоящую минуту. В такую крайность впасть, пожалуй, и легко из противоположной крайности; но ни мертвая копия явлений не может удовлетворить талант, ни равнодушное оправдание их не может удовлетворить души человеческой: первый носит в себе формы идеала, последняя — стремление к нему. И по тому самому, вследствие прямого отношения к действительности, она поясняется, так сказать, оразумливается для таланта, и ясно выступают для души человеческой из-за преходящих явлений неперенные и вечные законы правды, и снова крепко срастаются и сплавиваются в душе ее распадающиеся основы, — и многие простые старые истины возникают, обновленные, из хаотически-романтического брожения, грозившего поглотить их («Москвитянин», № 4, стр. 95–96).

Говорить или писать так можно разве только в каком-нибудь чрезвычайном состоянии, в каком не находятся, сколько нам известно, обыкновенные фельетонисты, и пишущие подобным языком, конечно, имеют в виду публику, хорошо знакомую с клинообразными надписями и с верною методою их чтения!

Г. Григорьев первый возымел мысль расширить фельетон до значения исторической критики и обнял в нем всю новую русскую литературу. Эта смелая попытка принадлежит ему без совместников. Четыре статьи о «Русской литературе», напечатанные им в «Москвитянине» под разными заглавиями (первое мы привели выше), свидетельствуют о неоспоримых его заслугах русскому фельетону. Он так проникнут идеею не современной, а исторической критики, так много начитался о ней у Гервинуса и Ретшера, что, начав с Гоголя и Лермонтова, не затруднился приложить ее даже к гг. Писемскому, Дружинину, Жемчужникову, Чернышеву и пр. Конечно, этот прием походит на то, как если б кто-нибудь нарочно взобрался на возвышение, чтоб оттуда лучше наблюдать над инфузориями: другие предпочитают делать те же самые наблюдения в «постели», чтоб удобнее было «валяться в ней от гомерического хохота»; впрочем, не надобно забывать, что московский фельетонист имеет в виду целое развитие русской литературы и что цель его именно в том и состоит, чтоб с высшей точки зрения проследить всю последовательность этого развития, начиная от Пушкина и Гоголя и оканчивая гг. Дружининым и Чернышевым. Верный историческому воззрению, г. Григорьев полагает, что каждое литературное произведение есть необходимое звено в последовательной цепи явлений или, как он выражается, «органический продукт века и народа» и подводится без натяжки под «исходное начало». Нельзя сказать, чтоб повторение или возобновление тех мыслей, которые в разное время были уже высказаны русскою критикою о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, было совершенно бесполезно в наше время, когда литература большею частью живет лишь хорошими воспоминаниями; но, к сожалению, автор статей о «Русской литературе в 1851 году», имел неосторожность скоро сбиться с своего пути и обратить так называемую им историческую критику в охоту за «новым словом». Сказал или не сказал писатель «новое слово», равно для него знаменитому «быть или не быть». Гоголь потому имеет цену в глазах г. Григорьева, что гениальная натура его носит в себе «клад всего неперемennого, что есть в стремлениях ее эпохи», или что он «одна из тех предизбранных натур», которые поясняют нам отчасти процесс *«извнутри выходящего творчества»*, что, одним словом, он сказал «новое слово». Сказал ли «новое слово» Лермонтов? И сказал, и нет. Он, если хотите, сказал слово «весьма звучное, даже поражающее», но такое, которое «по самой натуре своей было не способно к дальнейшему развитию» («Москвитянину» 3, 54). Итак, не довольно сказать «новое слово», надобно еще, чтоб оно способно было к движению, к развитию, чтоб оно было органическим продуктом извнутри выходящего творчества? Это «новое слово», которое сказал Лермонтов, было — *«слово борьбы без основ, страданий без исхода, жажды без удовлетворения — слово, которого значение “темно или ничтожно”, но которому действительно невозможно было “внимать без волненья”, — слово, которое в самом поэте должно было и, к сожалению, не успело выгореть и очиститься, — слово вражды, которая, конечно не может же быть состоянием нормальным, особенно если пружины ее заключены в безмерно выдавшейся личности, — оно оставило в памяти нашей след какого-то смутного, тревожного сновидения. Неглубокое содержанием, оно сказалось за раз, само себе положило Геркулесовы столбы, идти за которые значило идти к абсурду»* (там же). Вот какое слово сказал Лермонтов! Несмотря на то, Лермонтов «был поэт истинный и новый, каким был он в возможности», и уж не его вина, что «его действительные страдания, в нем самом еще не перегоревшие, взяты были напрокат другими, доведены до смешного, истасканы и опошлены, как прихоть моды» и что после него «слышался повсюду нескладный вой про гордое страданье...» Сказал ли «новое слово» г. Овчинников! Но г. Григорьев почему-то умалчивает о нем, хотя временем и подражает ему в выражениях и переходит от Лермонтова к гг. Авдееву, Дружинину, Жемчужникову и Чернышеву. Сказали ли гг. Авдеев, Дружинин, Жемчужников

и Чернышев «новое слово»? Нет, они все вместе не сказали его, они только повторяли слово Лермонтова, звучное, даже поражающее, но слово неспособное к дальнейшему развитию, *слово борьбы без основ*, то самое слово, которое было невинною виною, что после него слышался повсюду *нескладный вой про гордое страданье*... Все это г. Григорьев доказывает очень положительно посредством подробного анализа повести г. Дружинина, которая когда-то известна была под именем «Певницы». Но может быть, сказал «новое «слово» Гончаров, автор «Обыкновенной истории»? И дарование г. Гончарова, хотя «примечательно яркое, но чисто внешнее без глубокой мысли в задатке», не пошло по новой дороге, или, что то же, не сказало «нового слова». Оно вышло, по словам г. Григорьева, *из той же категории и было только ее цветом*. Примирение выразилось в нем ирониею какого-то отчаяния, *смехом над протестом личности, с одной стороны, и скорбным сознанием торжества сухой, безжизненной, бесосновной практичности* (там же, стр. 66). Гг. Тургенев, Григорович, П. А-в? Разумеется, они тоже не сказали «нового слова», но, по словам г. Григорьева, утешительно уж заметить, что «чем более сближаются они с избранною ими для изучения сферою жизни, тем менее *начинает их давить гнет задней мысли, тем свободнее становится их творчество*», хотя и неизвестно, есть ли это творчество изнутри выходящее или какое другое. Не сказал «нового слова» и кн. Одоевский; он «не подошел к жизни, не померил в борьбе с нею внутренних сил, а взглянул на жизнь издали, многое *увидел резко выдавшимся, еще большее усмотрел только в безразличной слитности, и требования своего Я поставил, таким образом, вразрез с действительными явлениями*; естественно, что на такой степени его стремления должны были, как отделенные, оторванные от общих, пойти, так сказать, в облака, и голос его зазвучал сурово с неприступных высот» («Москвитянин». С. 100). По поводу того же вопроса узнаем мы о г. Н. Павлове, что в повести его «Миллион» — «*пифос не обладает предметом и находится в отношении к нему в худо скрываемой зависимости*». Еще менее мог сказать «новое слово» граф Соллогуб. Сравнивая с ними г-жу Евгению Тур, г. Григорьев находит, что «к сфере света г-жа Евгения Тур стала в отношение, конечно, высшее, нежели граф Соллогуб, но несравненно низшее, нежели князь Одоевский и г. Павлов. Эта сфера тяготеет над нею, как тяготеет образ Чельского: *к этой сфере повествовательница относится, пожалуй, и с сравнительно высшими требованиями, но с обаянием ее она не расстанется*» (Там же, стр. 104–105.) Так не сказал ли, наконец, «нового слова» г. Писемский? Ведь признает же его г. Григорьев «истинным художником по натуре, и притом художником с особенной манерой». Но, к сожалению, и здесь мы ошиблись: «Г. Писемскому точно дана новая манера в изображении действительности, но не дано сказать о ней *никакого нового слова*». Новое слово показывается лишь в самом конце долгого умозрительства г. Григорьева, как отрадное видение, как светлый призрак, как заря будущего. Он еще не нашел его, но ждет его от г. Островского и уже заранее приходит в восторг при мысли, какое это будет удивительное новое слово. Задав читателям эту загадку, г. Григорьев опускает занавес.

Представление кончено. Многие, в свою очередь, могли бы спросить: сказал ли хоть одно «новое слово» сам г. Григорьев? Ответ будет нетруден: он сказал так много «новых слов», что все фельетоны, взятые вместе, не произвели равного количества в целый год. Поздравляем русскую литературу: она сделала приобретение поважнее «Литературного маскарада»... Что «Литературный маскарад»? Он забылся в следующем же месяце, а статьи о «Русской литературе в 1851 году» переживут еще многое, что явилось гораздо позже их, и любители редкостей никогда не перестанут цитовать <sic!> из них целые места, не только отдельные выражения. Слова: «борьба без основ», «цвет категорий», «нескладный вой про гордое страданье» и другие тому подобные вещи, никогда не изгладятся из памяти, как самые звучные и меткие стихи. Г. Григорьев даже в прозе достигает поэтического эффекта.

Иначе смотрит на подобные явления другой фельетонист московского журнала, занимающийся по преимуществу «эстетическою критикою». Статьи г. Григорьева несколько не разубедили его, что состояние нашей эстетической критики — «странное и жалкое». Он утверждает даже, что, если взглянуть прямыми глазами на дело, то нельзя не «изумиться, как не нашлось еще у нас ни одного голоса в обличение такого безобразия» («Москвитянин», № 6, стр. 24–25). Много рассуждая о причинах этакое странного состояния, он, между прочим, пришел к такому мнению, что «некоторые критики пишут, что хотят», что, «приступая к рецензии, они не берут на себя никаких обязанностей ни перед публикой, ни перед разбираемым произведением: Что напишется, то и хорошо» и т. п. (Там же, стр. 30). Чтоб литература впредь могла избежать подобных явлений, фельетонист, занимающийся эстетическою критикою, счел своим долгом сделать ей целое наставление, которое, в виде особой статьи, и напечатано в том же журнале под названием: «Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики». Читатели найдут ее в отделе «Наук», о которых редакция «Москвитянина» имеет, очевидно, немного «экстравагантное» понятие... Статья заслуживает, впрочем, внимания и в другом отношении. Никогда еще фельетон не достигал такого напряжения мысли, никогда еще не представлялся он публике в таком сияющем состоянии. Нам еще не случалось встречать такой сухой и песчаной почвы в литературе, как этот философический фельетон, в котором замерло все живое и каждая мысль тотчас превращается в «эстетический закон» или общее правило для пишущих. Сказав, например, о трудностях, которые представляются критику, фельетонист (г. Е***) тотчас замечает, что «все эти трудности *не должны* существовать для критика, в котором предполагается высокоразвитое эстетическое чувство». Напротив, «своей критической статьей *он обязан* освободить от них и всякого читателя». Далее, «он должен поставить читателя в настоящие отношения к художественному произведению, сообщить ему на него свою точку зрения». — «Он *не должен* только рассказывать им (читателям), как *нужно* смотреть на художественные произведения и бесполезно убеждать их отказаться от тех фальшивых взглядов, которые обуславливаются их односторонним развитием и в которых они не свободны, потому что вынесли их из жизни (!), он *обязан* подставить их действительно на ту точку зрения, с которой художественное произведение представляется художественным», и проч. «Для этого он *должен* так осветить для них разбираемое произведение, чтоб им не оставалось произвола в выборе взгляда (!)» и т. д. (Там же, стр. 46). Те же уроки фельетонной морали продолжают ниже: «Для всего этого критика *должна* оценивать художественное произведение *не сверху*, не с высоты положений, извлеченных из произведений других эпох и приобретаемых некоторыми в высушенном уже виде (что за ловкость и гибкость языка!), но так сказать (?), из самого произведения». Далее: «Каждый раз в душе критика *должен* начинаться во всей свежести тот же самый процесс (процесс, начинающийся в свежести!), каким вырабатывались все истинные эстетические положения». Еще один пункт: «Каждый раз он *должен* забыть на время все готовые уже в нем предосуждения и весь отдаться потоку образов, картин и ощущений, чтобы добыть живую мысль, лежащую в произведении, которая, представ ему тогда во всей оригинальности, свойственной каждому писателю как лицу, будет и для него новым приобретением к его эстетическому запасу и, выставленная на вид читателям, осветит им с настоящей точки все произведение» (Там же, 59). Извольте провести вашу мысль по этому безводному руслу, где что ни шаг, то камень! Любопытнее всего наставление, которое автор делает литературным педантам: «Выше было сказано, что эстетическая критика *должна* иметь главною целью посредством художественных произведений практически развивать в читателях верный вкус и прямой взгляд на литературные явления. Из этого, однако, не следует, чтоб критик *должен* был иметь постоянно в виду поучение публики» (стр. 58).

По этому случаю нам приходит на мысль, что Новый Поэт, с своей стороны, также мог бы дать несколько очень полезных советов московскому фельетонисту, если б только Новый Поэт имел столько же решительную наклонность к дидактическому роду. Но, по счастью, дидактический род дается не всякому, и даже между московскими фельетонистами нечасто встречаются апофегмы, подобные следующим: «Критика неусыпно *должна стоять* на страже против грозящей литературе безурядицы», «литераторам и публике *должна она прийти на помощь*», «литераторам *должна она помогать* теми теоретическими знаниями, которые в гениальных деятелях присущи их таланту (!)», «критика *должна предостерегать* публику от уродливых произведений», и т. п. (Там же, 23). Вот в чем должны состоять обязанности, или «должности», эстетической критики! Теперь, не угодно ли узнать, кому, по мнению г. Е***, дано право быть критиком? Мы опять приведем собственные его слова: «чем больше человек в отношении развития художественной способности стоит к той степени, где эта способность начинает становиться требовательною для того, кто владеет ею, то есть продуктивною или талантом, тем большее право дано ему от природы быть критиком». Мы были бы очень благодарны тем знатокам истории нашего языка, которые бы указали нам, какому его периоду или возрасту может принадлежать такой неслыханный способ выражения.

Отсюда легко видеть различие между петербургским и московским фельетонами. Не владея ни юмором, ни широкою манерою, московский принял вид «серьезной критики» и усвоил себе исключительно тон экстравагантный (г. Григорьев) и дидактической (г. Е***); не имея природной веселости, он думал заменить ее педантическою важностью. Конечно, можно различными средствами достигать одного и того же эффекта... Под вывескою «исторической и эстетической критики» московский фельетон считает себя великим двигателем в литературе; по уверению г. Григорьева, его статьи о «Русской литературе в 1851» начали собою *новую критику* в России, в отличие от «старой», которая будто бы «хочет, чтоб литература забавляла ее после сытного обеда» (тонкий намек на некоторые петербургские фельетоны). О прочих фельетонистах он выражается не иначе, как с презрением: «фельетонные *насекомые*»... («Москвитянин», 1, стр. 1). Точно тем же словом, как мы видели, означает Новый Поэт непетербургских фельетонистов. Вообще фельетонные писатели сходятся между собою не только в понятиях друг о друге, но и в самых выражениях, несмотря на различия в тоне и направлении.

В сущности, впрочем, задача петербургского и московского фельетонов одна и та же: ревьюэрство, как сказал бы Иногородный Подписчик. Богатый разными «экстравагантностями» и «абсурдами», но бедный идеями, московский фельетон тоже недолго держался на высоте новоизобретенной им исторической и эстетической критики и скоро опять спустился в обыкновенную фельетонную сферу — в ежемесячное обозрение журналов, которое составило в московском журнале постоянный отдел «Библиографии». Без журнальных статей, как известно, русскому фельетону нет спасения: литературный паразит, он умер бы голодною смертью, если б не мог питаться журнальными соками, как хорошими, так и дурными. Каким бы пышным именем ни прикрывался наш фельетон, его всегда можно узнать по этому родовому признаку. Как Новый Поэт и Иногородный Подписчик, гг. А., Б., В., составляющие московский фельетон, также любят войну с беззащитными, только ведут ее по другой «системе», отдельными отрядами, и притом без всяких оговорок, с некоторого рода «пафосом». Нам особенно нравится своею наивностью фельетонист, имеющий обыкновение описывать каждый месяц «Отечественные записки» от первой страницы их до последней. Страсть его — это «художественные произведения», то есть что другие вульгарно называют журнальною беллетристикой. Встретясь раз с «художественным произведением», то есть с журнальною

повестью или романом, он не может с ним расстаться, пока не перескажет публике всего его содержания. Если напечатана только первая часть романа, он перескажет первую часть. (Вы можете быть притом уверены, что, при окончании всего романа, он не забудет повторить еще раз свой рассказ.) В 1-ой книжке «Отечественных» записок за 1851 год напечатана была первая часть «Проселочных дорог» г. Григоровича: фельетонист «Москвитянина» тотчас изложил содержание первой части «Проселочных дорог». В той же книжке нашего журнала был сделан разбор романа г. Писемского «Брак по страсти»: обрадовавшись этому случаю, фельетонист пересказал до малейшей подробности все содержание романа г. Писемского, так что читатели «Москвитянина» имели удовольствие прочесть это произведение два раза — в собственном его виде и в той версии, которая дана ему фельетонистом. Само собою разумеется, что дело не обошлось и без полемики. «К крайнему удивлению, узнаем (говорит фельетонист, полемизируя против «Отечественных» записок), что отличительное свойство произведений г. Писемского есть отсутствие психологического анализа. Мы знали до сих пор, что бывает более или менее глубокий психологический анализ, но чтоб могли существовать художественные произведения при отсутствии психологического анализа, это что-то мудрено» («Москвитянин», 4, 128). В самом деле, как же это? Ведь произведение г. Писемского, повесть или роман, есть «художественное произведение»? Ведь это уж решено и подписано? Так как же сметь после того сомневаться в том, чтоб в нем не было психологического анализа? Явный «абсурд»! Мы пишем «эстетические» критики: кто ж после того осмелится усомниться, что нам недостает эстетического вкуса? Очевидная нелепость? — Фельетонист, описывающий «Отечественные» записки, впрочем, далеко не так исключителен, как Иногородный Подписчик и другие петербургские фельетонисты: никак не ограничиваясь одними «художественными произведениями», он судит и рядит обо всем, что только встретит в описываемом журнале; он не пройдет мимо ни ученой, ни критической статьи, как бы ни был специален предмет, и над каждою произнесет свой приговор. Подумаете, он большой энциклопедист? Нет, он только фельетонист, смешавший свое назначение с делом критика. Наложив на себя «обязанность», к которой ничто его не призывало, фельетонист часто принужден изворачиваться перед публикой, чтоб не употребить другого слова — самым неловким образом. Это любопытное и чрезвычайно характеристическое явление продолжается в «Москвитянине» уже не первый год. Некоторые примеры остались в нашей памяти еще из 1851 года, хотя они и не вошли в историко-критическое обозрение «Русской литературы в 1851 году» г. Григорьева. Как нарочно, в отделе Наук и в Критике «Отечественных» записок часто попадаются статьи ученого содержания, которые приходятся вовсе не под силу журнальному обозревателю. Ревьюэрство тут ни к чему не служит. Как быть? Хвалить голословно, повторять беспрестанно одни и те же выражения «прекрасно», «хорошо», и т. п., подобно Новому Поэту — не значит еще произносить суть. Прилагать к ним «эстетические законы» не годится: это не «художественное произведение». Разбирать, как следует, входя в самую сущность вопроса, нет никаких средств, да еще, сверх того, не зная дела, легко обмолвиться каким-нибудь «абсурдом». А между тем, так или иначе, должно исполнить принятую обязанность критика. Как же быть? Фельетонист, описывающий «Отечественные» записки, придумал следующий изворот: вообще о таких статьях отзываться с похвалою, отделяться двумя-тремя словами, *подробный же разбор обещать в будущем...* Так, например, г. Грановский напечатал в нашем журнале статьи по поводу книги «Судьбы Италии». Фельетонист, по прочтении первой статьи, не запинаясь объявил, что обсудит дело, когда статьи будут кончены. Судя по тону обозревателя, можно было бы подумать, что он в самом деле имел что-нибудь сказать от себя в этом деле. Нисколько: ему только нужно было с честью

отделаться от статьи. Тем же самым образом пользовался он и в первой половине прошлого года. В апрельской книжке «Отечественных» записок» начал печатать г. Буслаев свои превосходные критические статьи о «Филологических наблюдениях» г. Павского. Путем журнального обозрения фельетонист подошел и к статье г. Буслаева. Никто не взыскал бы на нем, если б он скромно отклонил от себя разбор ее. Много ли у нас знатоков языка, которые бы доказали, что они в состоянии поверить г. Буслаева? Но фельетонисту нужно было поддержать репутацию универсального критика, и он опять сослался на то, что статья не кончена, обещаясь при окончании «поговорить о ней подробнее» («Москвитянин», 9, 12). Но ведь чтоб говорить подробно об этом предмете, необходимо наперед запастись знаниями. Фельетонист об этом умалчивает. Нечего прибавлять, что статьи были кончены, а фельетонист не собрался говорить о них подробнее. В июльской книжке нашего журнала помещена была статья г. Кудрявцева: «Каролинги в Италии». Фельетонист убежден, что от него требуется сказать о статье свое мнение, а мнения нет, да, может быть, и нелегко составить его без некоторых необходимых условий. Что ж такое? «Об ней будет сказано в другом месте» («Москвитянин» 15, 117). Само собою разумеется, что этого другого места нигде не оказалось. И это называют «добросовестною критикою»! Это пишут и имеют храбрость печатать те, которые беспрестанно толкуют об «искренности в литературе»! Неужели же так *должна* поступать искренняя критика? — Но неизвестно под влиянием какого ветра неутомимый обозреватель «Отечественных» записок», кажется, и сам наконец почувствовал свой промах и начал принимать в обхождении с критическими и учеными статьями другую политику. Он пришел к тому заключению, что уж лучше говорить что-нибудь, чем давать обещания, которых нельзя исполнить: наконец, ведь это могут заметить... Представилась критическая статья г. Шестакова о «Прописях». Что, думаете вы, нашелся сказать о ней наш изворотливый фельетонист? Он привязался к тому, что автор статьи *мало полемизирует*... По совести, следовало бы наперед доказать, что в статьях, составляющих содержание разбираемой книги, действительно много спорных предметов, против которых нельзя не полемизировать. Но чтоб доказать это, потребовались бы знания; гораздо легче сказать, что статье недостает... ну хоть полемики и развести на несколько строк ту мысль, что было бы гораздо лучше, если б статья отличалась полемикой. А нам кажется, было бы гораздо лучше, если б всякий знал свое дело и не брался бы за чужое. Наконец, московским фельетонистам так надоели эти несносные ученые статьи, которые никак не поддаются ни их исторической, ни эстетической критике, что в одной из последних книжек «Москвитянина» они объявили, что не признают тех ученых статей, которые имеют своим предметом вопросы европейской науки, что имена Нибура, Савиньи и других великих представителей их как-то странно смущают и что они в подобных статьях ровно ничего не понимают и *потому* считают их решительно бесполезными в литературе. Давно бы так, чем, пользуясь легковерием читателей, обещать подробные разборы того, что вы сами узнали только накануне из обозреваемого вами журнала! Быть может, со временем, при большей опытности, и вы поймете, что ревьюэрство и критика — две вещи разные и что, смешав их, можно попасть в положение довольно комическое.

Более бесплодного явления, чем журнальный фельетон, еще не производила русская литература до сего времени. Было в ней много разнородных направлений, и почти каждое из них оставило память о себе, одно — в формации стиха, другое — в составе прозаической речи, то — в критической оценке прежних писателей, иное — в распространении более современных понятий об изящном вообще и т. п. Что произвел до сих пор наш журнальный фельетон, существуя уж не один год и каждый месяц наводняя журналистику изъяснением личных чувствований своих

производителей или повторением сказанного прежде? Мы видели его во всех видах, перепробовали все его тоны. Не говорим о знаменитом «новом слове», которое лопнуло, как мыльный пузырь, лишь только хотели схватить его руками, — сказали ли он хоть одно *живое* слово в литературе? Тянулся он за Жюль Жаненом, подражал Теофилу Готье, хотел, во что бы то ни стало, распотешить русскую публику, но это удавалось ему только в таком случае, когда он начинал рассказывать свои же похождения в разных журналах; а впрочем, заимствованного остроумия ставало ненадолго, и он искал спасения, говоря его же словом, в войне с беззащитными, в рыцарских наездах на беспомощных! Какая плодотворная деятельность перефразировать современную русскую беллетристику или заставлять ее гримасничать перед публикой! Видели мы потом наш журнальный фельетон, в его московской метаморфозе, когда, как «Дикий охотник» немецких преданий, с распущенными волосами и с яростью в очах, мчался он чуть не через всю русскую литературу в погоню за призраком — «за новым словом»: что выиграла русская литература от этой странной охоты, кроме некоторых небывалых экстравагантностей? Видели мы его, наконец, в ученом парике, с дидактическою миною, и помним, как от его дыхания леденела всякая мысль или превращалась в мертвую сентенцию. Деятельность неутомимая, беспокойная, крикливая, производимая зараз в несколько рук, хотя с самыми разнообразными приемами, она ничего не внесла в литературу, кроме призраков, экстравагантностей, а главное, слов, слов и слов! Не за мыслями, за словами гоняется наш журнальный фельетон и как ни силится подняться на дыбы, все остается тем же бесплодным ревьюэром, каким был с самого начала, и только портит наш прекрасный язык, ломая его бог знает на какой неслыханный лад. Кто-то удивлялся членам одного старинного общества, как, встретившись один с другим на улице и смотря друг другу в лицо, они могут удержаться от смеха? С нашими фельетонами сбылось то же самое: ни один из них не говорит о другом иначе, как с насмешкою и презрением; они как будто согласились не употреблять другого приветствия между собою, как «насекомые»... Мы вовсе не думаем исключать фельетон из области литературы: он явился в ней прежде нас и останется везде, где только найдет необходимый для себя материал — блестящее и неистощимое остроумие; но ведь надобно же, чтоб это остроумие было действительное, а не воображаемое или подражательное. Мы не думаем также, чтоб, при настоящем состоянии нашей литературы, когда она большею частию заключилась в периодические издания, не надобно было время от времени останавливаться и на некоторых замечательных произведениях, появляющихся в журналах; но чтоб *должно* было подходить с кодексом эстетики к каждой дюжинной повести и вооружаться философским анализом для разложения ее на составные части — в этом не убедят нас никакие дидактические писатели. Чем бесплодно тратить время на разбор произведений, из которых большая часть умирает, не дождавшись вашей критики, не полезнее ли было бы для вас самих, господа фельетонисты, приложить к ним ту же самую методу, по которой вы разбираете статьи ученые и другие, требующие более или менее специальных сведений?..

1853

П. Н. Кудрявцев

Русская литература в 1852 году

Впервые: ОЗ. 1853. № 1. Отд. IV. С. 1–56. Публикуемый фрагмент — с. 45–56. Без подписи. Цензурное разрешение — 01.01.1853. Цензор А. И. Фрейганг.

Авторство установлено Н. И. Тотубалиным на основании письма Галахова Краевскому (см.: *Тотубалин*. С. 80) и подтверждено Б. Ф. Егоровым (см.: *Егоров*. С. 224).

Петр Николаевич Кудрявцев (1816–1858) редко выступал на критическом поприще, завоевав большую известность скорее как профессор-медиевист и прозаик. Корпус анонимных критиче-

ских статей и рецензий Кудрявцева в «Отечественных записках» 1851–1855 гг. в полном объеме не выявлен. Комментируемая статья представляет первое крупное выступление Кудрявцева против направления «Москвитянина». Хотя Кудрявцев принадлежал к московским кружкам Грановского и Кетчера, представители «молодой редакции» в круг его общения не входили. Много публикуясь в 1840-е гг. в «Современнике», Кудрявцев в начале 1850-х гг. регулярно печатался в «Отечественных записках», где его перу принадлежали как рецензии и статьи, так и написанные совместно с А. Д. Галаховым и С. С. Дудышкиным годовые обзоры русской литературы. Об истории создания публикуемого обзора известно из письма Галахова, который писал А. А. Краевскому 8 ноября 1852 г. о том, что в обозрении литературы за 1852 г. «Кудрявцев взялся написать о фельетонной критике» (РНБ. Ф. 391. № 261. Л. 49 об.). Из следующего письма становится ясно, что запрос, по-видимому, исходил от самого редактора («вы желали этого». — Там же. Л. 51), которому было важно утвердить статус научной критики «Отечественных записок», объявив критику «Современника» и «Москвитянина» фельетонной и тем самым вывести ее за пределы серьезной полемики.

Таким образом, внутри коллективной статьи «Русская литература в 1852 году» Кудрявцеву принадлежит обзор критики и журналистики (с. 23–56), который открывается едким осуждением «русского фельетона», «фельетонной критики», «затопившей» всю словесность, и констатацией ее бессмысленности и беспомощности (с. 23–24). В кратком экскурсе в историю фельетона всю ответственность за его утверждение в современных журналах Кудрявцев приписывает Иногородному Подписчику (А. В. Дружинину). Затем появился Новый Поэт, позицию которого читающая публика, по мнению критика, стала отличать от дружининской. Наконец, все почти журналы ввели на своих страницах фельетонный отдел «обозрения журналов». Не стал исключением и «Москвитянин», который описан Кудрявцевым особенно иронично, с намеками на «Сон по случаю оной комедии» Б. Н. Алмазова и объявление Островского «новым словом» в статьях Ап. Григорьева: «Тут повторяют зады пиитики, тут подвергают строжайшему философскому анализу каждое мертворожденное литературное произведение <...>, тут все щедро жалуют одних в Шекспир, других в Сервантеса и тут же предпринимают целые экспедиции для отыскания какого-то нового «нового слова»» (с. 26). Кудрявцев упрекает критиков «Москвитянина» в том, что они впустую расстраивают свои силы, прилагая «эстетические законы» к ничтожным произведениям, которые «никем не дочитываются до конца» (с. 36).

Публикуемый фрагмент обозрения представляет собой острую критику литературной позиции, понятийного языка и журнальной тактики Григорьева и Е. Н. Эдельсона. Главная претензия Кудрявцева к двум главным критикам «Москвитянина» заключается в фельетонном, с его точки зрения, характере их статей, которые в этом смысле ничем не отличаются от «пустых» фельетонов Нового Поэта в «Современнике». Под фельетонностью Кудрявцев понимает туманный экспрессивный язык, несерьезность, необязательность и нерегулярность в ведении журнальных обозрений, дилетантизм в рецензировании специальной научной литературы, прикрываемый надуманными эстетическими теориями, дидактизм и нетерпимость к чужому мнению. Такая позиция позволила Кудрявцеву парадоксально объединить критику «Москвитянина» и «Современника» под ярлыком «фельетон» и противопоставить им якобы строго научную критику «Отечественных записок». Чрезмерное расширение понятия «фельетон» в статье Кудрявцева можно, по-видимому, объяснить установкой на научность (и наукообразность), историзм и неподвзятость мнений, характерную для главных критиков «Отечественных записок» (самого Кудрявцева, Галахова, Дудышкина). Позже в своих статьях Кудрявцев возвращался к осуждению фельетонности и неосновательности современной критики. Ср. противопоставление трудов Т. Н. Грановского «журнальным писакам» в статье «О современных задачах истории»: «Есть словоохотливые писатели, любящие выносить перед публику каждое свое личное ощущение; за недостатком другого материала, они готовы, пожалуй, вести подробную летопись того, что делается у них в семье, в кабинете. <...> За такими писателями не угонишься; у них всегда найдется, о чем поговорить с «благосклонным читателем»» (ОЗ. 1853. № 4. Отд. IV. С. 32). Стоит также иметь в виду, что в журнале Краевского в эти годы не было ни штатного фельетониста, ни рубрики, подобной Письмам Иногородного Подписчика или фельетонам Эраста Благодрава.

Фрагмент обозрения русской литературы, написанный Кудрявцевым, вызвал полемический ответ «молодой редакции». В обозрении № 1 «Отечественных записок» за 1852 г. Т. И. Филиппов обвинил критика «Отечественных записок» в страсти к высокомерию, «к бесплодной и неприятной полемике», желании как можно больнее задеть своих литературных врагов намеками на «новое слово», «фельетонный характер» критики; в презрении ко всем журналам, кроме своего; наконец, в шаткости мнений и логических противоречиях в собственной статье (см.: М. 1853. № 3. Отд. V. С. 156–157). А. В. Дружинин, против которого также была направлена «заносчивая статья» Кудрявцева, отвечал на критику в XXXIII письме Иногородного Подписчика. Сравнив обозревателя «Отечественных записок» с неудачливым ловцом мух-фельетонистов, которые продолжают

жужжать дальше, Дружинин утверждал, что обвинения Кудрявцева столь же пусты и стары как мир, сколь и неприличны и безосновательны. Обращаясь не лично к Кудрявцеву, но к редакции «Отечественных записок» (то есть к Краевскому) в целом, Дружинин полагал, что, обвиняя всю русскую критику всех журналов в пустословном фельетонизме, редакция компрометирует себя: и словесность, и критический отдел «Отечественных записок», по мнению Дружинина, находятся в печальном положении, не имеют в своем составе ни одного «гения» и уже потому не могут претендовать на роль арбитра вкуса и монополиста критического мнения (см.: Дружинин. Т. 6. С. 731–732; впервые: БдЧ. 1853. № 2).

С. 277. ...Новый Поэт писал для «Современника» свой «Литературный маскарад»... — Имеется в виду фельетон Панаева «Литературный маскарад накануне нового (1852) года» (С. 1852. № 1). В нем в пародийном образе «хора непризнанных сочинителей» была выведена «молодая редакция». Ср. описание ситуации Е. В. Салиас в письме к Н. М. Сатину: «Молодая редакция "Москвитянина" так рассердилась, что хотела жаловаться законным порядком на хор непризнанных сочинителей. Их ярость была очень забавна, хотя проявление ее и не было слишком благородно. Все это подало повод к толкам и смеху» (Новые пропилеи. Пг., 1923. Вып. 1. С. 27).

С. 277. ...Григорьев ~ свою статью «О значении исторической критики и о различных злоупотреблениях, к которым она» и пр.... — См. статью в наст. изд.

С. 277. ...один весь погружен в созерцание г. Овчинникова... — Имеется в виду Андрей Михайлович Овчинников (1811–1872), автор переделки второй части «Фауста» на русский язык (Рига, 1851; негативные рецензии: М. 1851. № 22. С. 331–343; Пантеон. 1853. № 1. Петербургский вестник. С. 44). В фельетоне «Литературный маскарад» И. И. Панаев на нескольких страницах смаковал экзотические неологизмы (типа «струс», «отовсюд») из его перевода трагедии Гёте (см.: С. 1852. № 1. Отд. VI. С. 165–171).

С. 277. ...в поте лица своего отыскивает «новое слово»... — Ставшая притчей во языцех фраза Григорьева о таланте Островского (см. наст. изд., с. 209).

С. 277. ...как Дульцинея одному герою старого времени... — Имеется в виду герой романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605).

С. 277. ...такие выражения, например, как «периферия личности», «узкость мирозерцания», «разумно-любовное слово жизни»... — Цитаты из статьи Григорьева «Русская литература в 1851 году» (см. наст. изд.). Туманность и окказиональность языка статей Григорьева не раз становилась мишенью для критиков.

С. 278. ...проникнут идеею не современной, а исторической критики... — См. в наст. изд. комментарий к статье Григорьева, с. 649.

С. 278. ...так много начитался о ней у Гервинуса и Ретшера... — Указание на заимствование Григорьевым концепции «исторической критики» в сочинениях немецкого историка литературы Г. Г. Гервинуса (см. наст. изд., с. 646–647).

С. 278. ...Жемчужникову, Чернышеву... — См. наст. изд., с. 657.

С. 278. ...другие предпочитают делать те же самые наблюдения в «постели», чтоб удобнее было «валяться в ней от гомерического хохота»... — Отсылка к «Литературному маскараду» Панаева (см. выше), в начале которого Новый Поэт возлежит на диване и хохочет «от души» над фельетонами о его персоне в других журналах (см.: С. 1852. № 1. Отд. VI. С. 153–154).

С. 279. ...повести г. Дружинина, которая когда-то известна была под именем «Певницы». — См. коммент. к статье Григорьева в наст. изд., с. 664.

С. 279. ...П. А-в? — П. В. Анненков здесь упомянут как прозаик, автор повестей «Кирюша», «Она погибнет!», «Странный человек».

С. 280. ...другой фельетонист московского журнала ~ «эстетическою критикою». — Имеется в виду Эдельсон.

С. 280. ...состояние нашей эстетической критики — «странное и жалкое». — Здесь и далее цитируется статья Эдельсона «Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической критики» (М. 1852. № 6). См. наст. изд.

С. 280. ...фельетонист (г. Е***)... — Литера, которой Эдельсон подписывал статью «Несколько слов...».

С. 281. О прочих фельетонистах он выражается не иначе, как с презрением: «фельетонные на с е к о м ы е»... — См. коммент. к статье Григорьева в наст. изд., с. 649.

С. 281. ...ревьюэртство, как сказал бы Иногородный Подписчик. — Намек на англomанию А. В. Дружинина — переводчика и популяризатора английской словесности в России (от англ. 'review' — рецензия, обзор).

С. 281. ...гг. А., Б., В., составляющие московский фельетон... — См. коммент. к фельетону Панаева (наст. изд., с. 632).

С. 281. ...фельетонист, имеющий обыкновение описывать каждый месяц «Отечественные записки»... — В 1852 г. названный журнал «ревьюировал» Эдельсон (см. наст. изд., с. 571).

С. 282. ...он не может с ним расстаться, пока не перескажет публике всего его содержания... — В рецензиях Эдельсона пересказ текстов иногда занимал до трети объема. См., например, в наст. изд. его разбор № 2 «Отечественных записок» за 1851 г.

С. 282. ...фельетонист «Москвитянина» тотчас изложил содержание первой части «Проселочных Дорог» ~ содержание романа г. Писемского... — В разборе № 1 «Отечественных записок» за 1852 г. Эдельсон кратко пересказал 1 часть «Проселочных дорог» Григоровича (см.: М. 1852. № 4. Отд. V. С. 109–110) и очень подробно изложил содержание «Брака по страсти» Писемского (Там же. С. 113–117).

С. 282. ...отделяваться двумя-тремя словами, подробный же разбор обещать в будущем... — Эдельсон нередко отказывался от разбора многих статей. Ср. его слова о статье «Отечественных записок» «Русская литература в 1851 году»: «Мы укажем впоследствии на некоторые особенно любопытные места этого обзора и скажем несколько слов об общем духе его» (М. 1852. № 4. Отд. V. С. 110).

С. 282. ...г. Грановский напечатал в нашем журнале статьи по поводу книги: «Судьбы Италии». — Рецензия Т. Н. Грановского на исследование Кудрявцева «Судьбы Италии» опубликована в № 4 и 6 «Отечественных записок» за 1851 г. Откладывая обсуждение этой статьи до будущих номеров, Эдельсон обещание не сдержал (М. 1851. № 9. С. 205), ограничившись похвалой стилю и языку, но «не принимая на себя произнести суждение о справедливости всего, что высказано г. Грановским» (М. 1851. № 15. С. 359). Анонимный автор статьи «Русская литература в 1851 году» (возможно, Галахов) также иронизировал по поводу медлительности и необязательности критиков «Москвитянина» в их оценке диссертации Кудрявцева: несмотря на сообщения Погодина о том, что «несколько рецензий <...> было у него в запасе», ни одной рецензии на «Судьбы Италии» в «Москвитянине» так и не появилось (см.: ОЗ. 1852. № 2. Отд. V. С. 86).

С. 283. ...начал печатать г. Буслаев свои превосходные критические статьи о «Филологических наблюдениях» г. Павского — Имеется в виду рецензия Ф. И. Буслаева на книгу Г. П. Павского «Филологические наблюдения над составом русского языка» (ОЗ. 1852. № 4–5).

С. 283. «Об ней будет сказано в другом месте». — Обещание Эдельсон не сдержал.

С. 283. Те, которые беспрепятственно толкуют об «искренности в литературе»! — О понятии «искренности» в критике «молодой редакции» см. наст. изд., с. 26–27.

С. 283. Представилась критическая статья г. Шестакова о «Прописях» ~ мало полемизирует... — В обзоре рецензии С. Д. Шестакова на «Прописи» (1852) П. М. Леонтьева (ОЗ. 1852. № 6. Отд. V. С. 49–70) Эдельсон утверждал, что статья Шестакова рецензией быть названа не может, т. к. «страдает отсутствием полемического характера» (М. 1852. № 13. Отд. V. С. 18). Как один из авторов «Прописей» (в вып. 2 вышла его статья об «Эдипе») Кудрявцев внимательно следил за этим изданием.

С. 283. Они объявили, что не признают тех ученых статей, которые имеют своим предметом вопросы европейской науки, что имена Нибура, Савиньи и других... — Имеется в виду ироническое утверждение Алмазова о том, что читатель настоящей научной статьи «преисполняется чувством бесконечного уважения и страха к автору, который обращается запанибрата с Гибоном, Савиньи, Нибуром и Гегелем, — и чувствует необыкновенное к себе презрение за свое невежество» (М. 1852. № 19. Отд. V. С. 107). О Нибуре см. наст. изд., с. 611; Фридрих Карл фон Савиньи (von Savigny, 1779–1861) — немецкий юрист и историк права. Оба историка были для Кудрявцева главными научными авторитетами. В программной статье «О достоверности истории» (ОЗ. 1851) критик ссылался на их «историческую критику» источников как на образцовую методологию: «Положительное знание, утверждающееся на истинной исторической почве, наперед очищенной строгим анализом, и основанное на самом понимании предмета, — вот тот идеал знания, к которому постоянно стремился Нибур» (Кудрявцев П. Н. Соч. М., 1887. Т. 1. С. 18). В № 1–2 «Современника» за 1850 г. был помещен цикл обстоятельных статей Т. Н. Грановского «Бартольд-Георг Нибур».

С. 284. Тянулся он за Жюль Жаненом, подражал Теофилу Готье... — Театральные фельетоны Жюль Габриэля Жанена (Janin, 1804–1874) в «Journal des Débats» прославили его имя и сделали жанр популярным, в том числе и в России. Переводы фельетонов Жанена в «Московском телеграфе» («Мелкая промышленность Парижа», 1832; «Литературные признания», 1833) оказали большое влияние на русских критиков — Белинского, Сенковского, Шевырева (см.: Назарова Н. К вопросу о литературной позиции О. И. Сенковского в 1830-х гг.: Барон Брамбеус и Жюль Жанен // Русская филология. 18. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 2007. С. 34–38). Драматические фельетоны, которые Пьер Жюль Теофиль Готье (Gautier, 1811–1872) вел с 1836 г. в «Presse», а затем в «Journal Officiel», были популярны в России в 1840-е гг., а их автор пользовался репутацией «знаменитого фельетониста и критика» (БдЧ. 1846. № 9. Отд. VII. С. 123). «Остроумный фельетонист» Готье хвалебно упоминался как образец для подражания в начале фельетона Панаева «Литературный маскарад накануне 1852 года», который разбирал Кудрявцев в другом месте печатаемого обозрения (С. 27).

С. 284. ...«Дикий Охотник» немецких преданий, с растущими волосами и с яростью в очах... — В германском фольклоре образ духа дикой охоты, всадник, носящийся по воздуху. Подробное описание сказаний о нем см.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1. С. 724–726.